

¹³ Лукина Н.В. О понятии этнографический источник (к постановке вопроса) // Методологические аспекты археологических и этнографических исследований в Западной Сибири. Томск, 1982. С. 27.

¹⁴ Гурвич И.С. Современные этнические процессы, протекающие на севере Якутии // Сов. этнография (далее – СЭ). 1960. № 5. С. 3–11; *Потапов Л.П.* К вопросу о национальной консолидации алтайцев // Там же. 1952. № 1. С. 75–84; *его же.* О национальной консолидации народов Сибири // Вопр. истории. 1955. № 10. С. 59–67; *Смоляк А.В.* О некоторых этнических процессах у народов Нижнего и Среднего Амура // СЭ. 1963. № 3. С. 21–30; *Соколова З.П.* О некоторых этнических процессах, протекающих у селькупов, хантов и эвенков Томской области // Там же. 1961. № 3. С. 45–62.

¹⁵ *Томилов Н.А.* Современные этнические процессы у татар городов Западной Сибири // СЭ. 1972. № 6. С. 87–97.

¹⁶ *Томилов Н.А.* Североазиатская культурная провинция и ее место в ареалах российской и мировой цивилизации // Россия и Восток: история и культура. Омск, 1997. С. 158–166; *его же.* Сибирская культурная провинция, ее место и роль в мировом культурном поле // Россия и Восток: проблемы взаимодействия. Ч. III. Новосибирск, 1999. С. 37–40.

¹⁷ О разных подходах к понятию «цивилизация» см.: *Гемуев И.Н.* Цивилизация и культура // Аборигены Сибири: проблемы изучения исчезающих языков и культур. Новосибирск, 1995. С. 101–102.

¹⁸ *Басилов В.Н.* Указ. раб. С. 40–41.

N. A. Tomilov. Russian ethnographic Siberian studies of the 20th century

The history of ethnographic Siberian studies of Russian scholars is subdivided into the following four stages: 1) pre-scientific period: inclusive of the 17th and up to the mid-19th centuries; 2) formative period of ethnographic Siberian research: from the mid-19th century and up to the 1920's; 3) period of growth of the scope of scientific and applied research in the peoples of Siberia: 1920's–1950's; 4) from the 1960's and up to the present – a period of formation and development of new scientific research trends, including inter-disciplinary studies, and of new ethnographic research centers in the Aisan part of Russia – in Vladivostok, Novosibirsk, Omsk, Salekhard, Tomsk, Ulan-Ude, Khanti-Mansijsk, Yakutsk and other cities of Siberia.

© 2001 г., ЭО, № 3

Т.Д. Соловей

«КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ» В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭТНОГРАФИИ (ДИСКУССИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЭТНОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ: КОНЕЦ 1920-х – НАЧАЛО 1930-х ГОДОВ)

В периоды относительно спокойного развития той или иной научной дисциплины вопросы ее методологии представляют интерес чаще всего лишь для узкой группы методологов и историографов науки. Не является в этом смысле исключением и такое важное методологическое понятие, как «предмет науки». Обычно под ним понимается эмпирически сложившаяся совокупность научной проблематики. Говоря несколько упрощенно, ученые склонны полагать, что предмет науки определяется кругом тех проблем, изучением которых они традиционно занимаются. Между тем понятие «предмет науки» может претендовать на звание интегральной методологической категории, поскольку с той или иной степенью полноты включает в себя место конкретной науки в системе научных дисциплин, предметную область и объект исследования данной науки, ее цели, задачи, категориальный аппарат, используемые теории и концепции. Содержание предмета науки трансформируется по мере развития и видоизменения

научной дисциплины. В свою очередь то или иное понимание предмета науки способно оказать влияние на вектор и характер развития последней. Таким образом, между собственно научной дисциплиной и трактовкой ее предмета существует не только прямая, но и обратная связь. Подобные взаимосвязи особенно наглядно проявляются в ситуации научного кризиса, когда резко возрастает интерес к вопросам методологии науки, а понимание ее предмета из конвенционального становится остро дискуссионным, привлекая внимание уже не только историографов и методологов, но и широкой научной общественности.

В истории отечественной этнологии XX в. понятие «предмет этнологии» неоднократно становилось темой обсуждения, но особый интерес, по мнению автора статьи, представляет дискуссия о предмете этнологической науки, проходившая на рубеже 1920–1930-х годов. Содержание и значение этой дискуссии вышло далеко за рамки ее названия. По существу она подвела черту под кризисом отечественной этнологии, постепенно нараставшим на протяжении большей части первого тридцатилетия XX в. Итоги дискуссии непосредственно предопределили траекторию движения этнологической науки в последующее двадцатилетие, а в более широком плане заметно повлияли на развитие этнологии в течение всего советского периода. В этом смысле дискуссия конца 1920-х – начала 1930-х годов можно без преувеличения оценить как судьбоносное событие в истории отечественной этнологии.

Кризис российской этнологии. Дискуссия 1916 г. о предмете этнографии

Дискуссии рубежа 1920–1930-х годов предшествовала дискуссия о предмете этнографии в 1916 г. Оба этих важных историографических события¹ были связаны как тематически, так и кругом обсуждавшихся вопросов. Объединяло их и то, что дискуссии проходили в обстановке теоретико-методологического кризиса отечественной этнологии, представляя собой попытку найти способ его разрешения. Различие между указанными событиями, причем довольно существенное, состояло в том, что если в первое десятилетие XX в. наблюдалась начальная стадия кризиса, то к концу 1920-х годов он стал носить развернутый характер.

Здесь следует оговориться, что под «научным кризисом» понимается не нечто априорно негативное, дегенерация науки, а естественный и закономерный процесс ее перехода в новое качество. Ситуация кризиса возникает при исчерпании старых теоретических подходов и прежних форм организации науки, когда научная дисциплина в силу своей внутренней логики развития оказывается перед необходимостью перейти на новый теоретический и институциональный уровень.

Отличительной чертой российской этнологии с момента ее оформления в качестве самостоятельной научной дисциплины (вторая четверть XIX в.) была теоретическая вторичность, т.е. зависимость от теорий и концепций, бытовавших на Западе. С конца 70-х годов XIX в. в отечественной этнологии в качестве основной теоретической парадигмы утвердился позаимствованный у Запада эволюционизм. Отдельные исключения, например, деятельность «Этнографического бюро» В.Н. Тенишева, предвосхитившего функциональный подход, существенно ситуации не меняли. И если с начала XX в. в Европе и в США эволюционизм столкнулся с нарастающей конкуренцией со стороны других теоретических подходов (диффузионизма, культурно-исторической школы, антропогеографии Ф. Ратцеля), то в России он по-прежнему доминировал практически безраздельно. Эвристический потенциал эволюционизма на российской почве оказался весьма значительным: основные положения теорий А. Бастиана и Э. Тайлора давали неплохие результаты в их применении к изучению окраинных народов Российской империи. Не в последнюю очередь живучесть эволюционизма была связана с генезисом самой этнографии, которая зародилась и развивалась в тесной связи с естествознанием.

Устойчивое преобладание эволюционизма в теоретическом арсенале российской

этнографии (в то время как на Западе сфера его влияния неуклонно сокращалась), по-видимому, в значительной мере было также предопределено довольно низким статусом, политической и социальной невостребованностью этой дисциплины в Российской империи. В создавших огромные колониальные империи странах Западной Европы этнографы участвовали в выработке форм управления покоренными народами, решении задач их бытовой и политической социализации. Благодаря этому она пользовалась государственным покровительством и поддержкой, практические же потребности колониальной политики стимулировали активный научный поиск, способствовали выдвиганию новых концепций и теорий. В дореволюционной России этнография никогда не имела целенаправленной и масштабной государственной поддержки, а этнографические исследования носили преимущественно эмпирический характер, реализуясь в форме значительных по охвату и интенсивности, но не имевших продуманной программы и стратегических целей, полевых исследований.

Теоретическая вторичность отечественной этнологии усугублялась слабым развитием учебных и научных центров этнографического профиля, отсутствием в России систематической школы этнографии².

Тем не менее отголоски западных теоретических дискуссий докатились и до России, где к началу XX в. определенная часть (довольно небольшая) сообщества этнологов все явственнее осознала принципиальную ограниченность (что вообще характерно для любого научного метода) эволюционистской парадигмы. Это понимание становилось все более отчетливым по мере расширения масштабов и роста интенсивности полевых исследований, вплотную сталкивавших отечественных ученых с множеством проблем, не решавшихся в русле идей эволюционизма, стимулировалось оно и знакомством российских исследователей с лучшими достижениями зарубежной этнологической мысли. Поэтому неудивительно, что наиболее ярким и последовательным критиком эволюционизма в первое двадцатилетие века стал А.Н. Максимов – ученый, блестяще сочетавший качества полевого исследователя и тонкого знатока новейших теоретических достижений западной этнологии³. Он однозначно и жестко констатировал полную методологическую несостоятельность эволюционистских построений, указывая, что последние «не только не могли обосновать новой науки, но и сами оказались весьма непрочными»⁴. Максимов ставил под сомнение теоретические схемы и обобщения, используемые российской этнографией, считая, что в их основе лежал материал, с одной стороны, неполный, а с другой – неточный и недостоверный⁵.

Ни критика А.Н. Максимова, ни деятельность «Этнографического бюро» В.Н. Тенишева не смогли поколебать господствующего положения эволюционизма в российской этнографии. Мощный удар по его устоям был нанесен извне – из сферы политики, а не науки: первая мировая война, выглядевшая в глазах современников почти вселенской катастрофой, поставила под сомнение лежавшие в основе эволюционизма идеи объективного познания действительности, закономерности глобального прогресса и единства человечества. По-видимому, далеко не случайно, что дискуссия о предмете этнографии состоялась именно в 1916 г. Она проходила в Отделении этнографии Императорского Русского географического общества (ИРГО) в Петрограде, а в центре ее внимания оказался доклад одного из наиболее интересных российских этнологов рубежа веков, действительного члена ИРГО Н.М. Могилянского.

Он настаивал на необходимости поставить в центр внимания этнографии не вопросы культуры, как это было во всех без исключения господствовавших в то время концепциях и теориях (и в России, и на Западе), а проблему исследования «этнических групп, рас, народов, как этнических индивидуумов». Н.М. Могилянский полагал: именно изучение этноса составляет подлинную базу научной этнографии и оно – единственное, что поможет сохранить ее в качестве науки⁶. Для своего времени это был подлинно новаторский подход, однако, как часто бывает с научными прозрениями, явно опередивший собственную эпоху.

Сам факт проведения дискуссии свидетельствовал о том, что научное сообщество приближалось к осознанию необходимости обновления методологического инструмен-

тария этнологии. Но оно явно не было готово кардинально отказаться от прежних позиций, а по существу и от прежней этнологии. Радикально новый взгляд Н.М. Могилянского на предметную область этнологии – вместо «человечества и его культуры» во главу угла ставился этнос – потенциально вел к тотальной ревизии «старой» этнологии. Но сила инерции, научные традиции и корпоративные интересы оказались сильнее новых веяний, не встретивших серьезной поддержки со стороны научного сообщества. Поэтому неудивительно, что результаты дискуссии были более чем скромными. Обсуждение доклада Могилянского превратилось в спор о том, как называть научную дисциплину: «этнография», «этнология», «народоведение» или «антропология». Чаще всего это различие понималось как исключительно терминологическое, и потому обсуждение носило несколько схоластический характер. Большинство предложенных определений предмета этнографии было выдержано в эволюционистском духе⁷. Таким образом, решение принципиально важных для самопознания и дальнейшего развития отечественной этнологии методологических вопросов было отложено до лучших времен.

Историографическая ситуация в 1920-е годы: углубление кризисных тенденций

Октябрьская революция повлекла за собой кардинальные перемены в статусе и судьбах российской этнографии. Не боясь власть в соблазн идеологизированных оценок, можно осторожно предположить, что, несмотря на тяжелейшие политические и социально-экономические последствия революции, в полной мере отразившиеся на судьбах науки и ученых, баланс плюсов и минусов для этнографии в первое после-революционное десятилетие был все же положительным. Самое главное – этнография оказалась политически и социально востребованной, а ее статус резко повысился. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, в 1920-е годы Кремль разворачивал вектор мировой революции с Запада, где раздуть революционный пожар не удалось, на просыпавшийся Восток. Значительный рост интереса к зарубежной и отечественной Азии стимулировал развитие востоковедных, в том числе этнографических, исследований и расширение масштабов соответствующей профессиональной подготовки. Во-вторых, в Советском Союзе проводился грандиозный и вдохновляющий социальный эксперимент по модернизации «отсталых народов», их бытовой и политической социализации. В авангарде решения этих задач неизбежно оказывалась этнографическая наука.

Этнографам предстояло изучить и описать этнический состав населения бывшей Российской империи, создать этнографические карты и заняться этнической статистикой, принять активное участие в организации просветительских и культурных учреждений на окраинах страны, способствовать формированию и развитию национальных письменных литератур. Здесь принципиально важно подчеркнуть, что направленность государственной политики, научные интересы и устремления самих ученых в целом совпадали. Благодаря новой власти и ее ощутимой поддержке возникли весьма благоприятные условия для реализации многочисленных замыслов и идей (например, изучение этнического состава населения России), вынашивавшихся не одним поколением российских этнографов. Ориентируя этнографов в первую очередь на практические результаты, власть не вводила при этом каких-либо существенных идеологических и политических ограничений в сфере их профессиональных интересов.

1920-е годы стали временем бурного роста этнологии. В это время складывалась структура научно-исследовательских и учебных центров этнологического профиля. В результате возникла гибкая, эффективная и перспективная система, основанная на принципе плюрализма (как организационного, так и теоретико-методологического), в рамках которой сосуществовали и взаимно влияли друг на друга различные, зачастую противоположные, научные подходы и направления, теории и концепции. Не вдаваясь в подробную характеристику этой системы⁸, хотелось бы обратить внимание

на принципиально важное обстоятельство: главенствующие позиции в науке и в сфере специального образования занимали ученые так называемой старой школы – этнографы, чье профессиональное становление пришлось на дореволюционный период: Д.Н. Анучин, В.В. Богданов, В.Г. Богораз, Д.К. Зеленин, Д.А. Золотарев, Е.Г. Кагаров, А.Н. Максимов, П.Ф. Преображенский, В.Н. Харузина, Л.Я. Штернберг и др. Именно эта генерация ученых инициировала создание подавляющего большинства новых учебных и научных этнологических центров, возникших после революции (автономные академические центры, Государственная академия истории материальной культуры (ГАИМК), этнографические отделения Московского и Ленинградского университетов, научные общества); в их руках был сосредоточен контроль как за этими учреждениями, так и за теми, которые возникли и функционировали еще до октября 1917 г. (Академия наук, Этнографический отдел Русского музея, Русское географическое общество, Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии). Единственное значимое исключение составляла сравнительно небольшая группа специальных правительственных органов, созданных для решения практических задач национальной политики советской власти (Наркомнац, Центральное этнографическое бюро, Бюро съездов Госплана, Комитет Севера), возглавлявшихся политическими функционерами и находившихся под прямым партийно-государственным контролем.

Сложившееся положение дел вряд ли в полной мере устраивало официальные власти. Была предпринята попытка сформировать марксистскую школу в этнологии, заменив аспирантуру институтом выдвинутых, комплектовавшимся по признаку социального происхождения и политической благонадежности. Однако серьезного эффекта, по крайней мере, на первых порах, она не дала. Одни представители этой молодежи (например, С.А. Токарев и С.П. Толстов), несмотря на идеологическую «накачку», находилась под заметным профессиональным и человеческим влиянием своих преподавателей. (Именно представители старой школы оказывали определяющее влияние на постановку этнологического образования.) Другие, несмотря на апломб и претензии на монопольное владение «единственно верным методом», не смогли составить конкуренции ученым старой школы в силу низкой профессиональной квалификации и недостаточного опыта. Даже правительственные учреждения предпочитали привлекать для решения стоявших перед ними задач профессионалов старой выучки, а не молодых, но не всегда хорошо образованных марксистов-неофитов. Вместе с тем численность научной молодежи неуклонно увеличивалась (масштабы подготовки этнографов в 1920-е годы отличались своей значительностью: так, за три года на этнографическое отделение этнологического факультета I МГУ было принято 186 чел.), возрастали ее напор и агрессивность, но путь для продвижения по карьерной лестнице был для нее зачастую заблокирован старшими коллегами. В перспективе такая кадровая и возрастная динамика могла обернуться острым межпоколенческим конфликтом, возможно, отягощенным идеологической ангажированностью.

В теоретико-методологическом отношении сложившуюся в 1920-е годы историографическую ситуацию можно охарактеризовать как эпоху научного плюрализма. То был без преувеличения «золотой век» советской этнографии. Сосуществовали и конкурировали разнообразные теории и концепции, наличествовал широкий спектр зачастую противоположных взглядов, мнений, суждений, успешно функционировали различные типы научных институтов и учебных учреждений. Все это стало возможным благодаря мощной государственной поддержке при отсутствии серьезных идеологических ограничений в профессиональной сфере⁹.

Господствующим в этнографии (во всяком случае по числу приверженцев) оставался эволюционизм. После октября 1917 г. его позиции отчасти даже усилились за счет создания учебных и научных учреждений, содержание учебного процесса, исследовательские подходы, а также структура и названия которых отражали эволюционистский подход к изучению проблем человеческой культуры. Так, ГАИМК, в составе которой было открыто этнологическое отделение, в своих методологических подходах ориентировалась почти исключительно на эволюционистскую парадигму.

В 1925 г., по инициативе последовательного приверженца эволюционистской теории Л.Я. Штернберга, при Музее антропологии и этнографии АН СССР (Ленинград) открылся отдел эволюции и типологии культуры, ставивший целью сравнительное изучение этнографических явлений и «освещение основных элементов человеческой культуры в их историческом развитии и типологии»¹⁰.

Эволюционистская теория была неотъемлемой частью учебной подготовки кадров этнографов в 1920-е годы. Ее главными проводниками и пропагандистами выступали основатель ленинградской этнографической школы, декан этнографического факультета Географического института «северной столицы» Л.Я. Штернберг и В.Н. Харузина, читавшая курс «этнографии малокультурных народов» на факультете общественных наук I МГУ. Входивший в программу этнографического образования обязательный минимум общественных дисциплин представлял собой своеобразный синтез экономического материализма, социологических схем и элементов эволюционизма. Этот минимум включал историю общественных форм, исторический материализм, историю классово-борьбы XIX–XX вв., историю ВКП(б), основы ленинизма и др.

Вместе с тем универсальность эволюционистской парадигмы, ставившаяся под сомнение еще до революции, чем дальше, тем заметнее вызывала серьезные сомнения и обоснованную критику со стороны значительной части этнологического сообщества России. В претендовавших на всеохватность эволюционистских схемах обнаруживалось все больше прорех. Начатый на Западе еще на рубеже веков процесс вытеснения эволюционизма новыми теоретическими течениями не обошел стороной и Россию. Отечественная почва оказалась особо восприимчивой к новым подходам в силу преобладавшей в России 1920-х годов тяги к социальному и научному экспериментированию и атмосферы всеобщего энтузиазма, в том числе и научного, захватившего даже представителей старой школы.

В середине 1920-х годов группа московских и ленинградских этнологов предприняла попытку применить идеи культурно-исторической школы Ф. Боаса («культурно-исторический подход») к исследованию явлений народного быта в областном масштабе. Проблемы культурно-исторического обоснования «всех явлений народного быта» в Центрально-Промышленной области (ЦПО) обсуждались на двух (29–30 марта 1926 г. и 7–10 декабря 1927 г.) этнологических совещаниях по ЦПО при Государственном музее ЦПО в Москве.

На первом совещании один из ведущих московских этнологов того времени В.В. Богданов призвал коллег «отрешиться от тех приемов этнологического обследования, которые в нашей науке базируются на принципе эволюции форм и элементов общечеловеческого быта» и вести «этнологическое исследование на принципе культурно-исторического, а не эволюционного обоснования всех процессов народного быта»¹¹. На втором совещании ленинградский исследователь Д.К. Зеленин утверждал, что краеведческое изучение ЦПО может и должно способствовать разрешению тех проблем, которые поставила современная западноевропейская и американская этнология, а именно: 1) вопроса о конвергентности и диффузии; 2) вопроса о культурных районах и культурных центрах¹².

Восприятие идей культурно-исторической школы не носило, однако, апологетического и односторонне не критического характера. Российские ученые прекрасно осознавали ее слабые места и видели те самоограничения, которые вытекали из самой теории. Талантливый этнолог и яркая личность, профессор I МГУ П.Ф. Преображенский одним из кардинальных недостатков культурно-исторической школы считал «неработанность проблемы отношения культуры к этнической группе, проблемы "этноса"»¹³.

В 1920-е годы интерес к этнической группе как к объекту этнологического изучения, что традиционно являлось сильной стороной отечественной науки, отошел на второй план. Отчасти это произошло под натиском идей антропогеографии, диффузионизма, школы «культурных кругов», а отчасти потому, что пределы России вынуж-

дены были покинуть ученые, в трудах которых особенно активно разрабатывалась проблема «этноса» (Н.М. Могиланский, С.М. Широкогоров).

Судя по теоретическим работам российских этнографов, в первое послереволюционное десятилетие сохранялась заметная теоретическая зависимость отечественной науки от западноевропейской (главным образом немецкой) этнологии и американской культурной антропологии, чьи идеи осмысливались и перерабатывались российскими этнологами. Но сама по себе эта мощная методологическая подпитка свидетельствовала о сохранении обширных международных связей российской этнографии, ее вписанности в мировое интеллектуальное сообщество. «Железный занавес» еще не опустился, идеологическая цензура не была введена.

Отсутствие последней объяснялось, во-первых, толерантным отношением к этнологии официальных инстанций, рассчитывавших использовать ее потенциал для реализации глобальных политических и социальных задач; во-вторых, общественно-политическим контекстом эпохи новой экономической политики, допускавшей определенное свободомыслие; в-третьих, отсутствием в самой этнологической науке внутреннего цензора – «марксистского сектора».

В 1920-е годы марксистского направления (если понимать под марксизмом лишь научную теорию и исследовательский метод) в этнологии в отличие, скажем, от отечественной и всеобщей истории попросту не существовало. Как точно подметил Ю. Слезкин: «Существовали этнографы-марксисты, но не существовало марксистской этнологии»¹⁴. Более того, именно перу ученых – представителей старой школы принадлежали первые попытки освоения марксистской методологии, осуществлявшиеся в форме ее синтеза с другими теоретическими подходами: например, с антропогеографией Ф. Ратцеля в книге В.Г. Богораза «Распространение культуры на земле. Основы этногеографии» (Л., 1928) или с идеями культурно-исторической школы в «Курсе этнологии» П.Ф. Преображенского (М.; Л., 1929). Чаще всего марксистское влияние проявлялось в терминологии и использовании механистически понятой материалистической диалектики. Вряд ли этот процесс можно было назвать «переходом на марксистские рельсы», скорее то был естественный интерес интеллектуалов к эвристическим возможностям новой научной парадигмы, интерес, который возник еще в дореволюционное время (здесь стоит напомнить о работах таких дореволюционных исследователей, как Н.И. Зибер, М.М. Ковалевский, К.М. Тахтарев¹⁵).

Подобного рода попытки освоения марксизма, рассматривавшие его лишь как один из научных методов, равноценный с другими и имевший свои естественные ограничения, не могли не выглядеть настораживающе для индоктринированных апологетов «единственно верного учения» – волшебной отмычки ко всем тайнам науки, природы и человеческого общества. Тем более еретическими выглядели высказываемые рядом представителей старой школы претензии рассматривать этнологию в качестве субститута марксистской социологии и как некую метанауку, включающую широкий круг гуманитарных дисциплин, в том числе историю, искусствоведение, археологию, литературоведение. Одним из наиболее влиятельных и ярких сторонников этой точки зрения был П.Ф. Преображенский, которому удалось воплотить комплекс своих идей в организацию учебного процесса на созданном в 1925 г. этнологическом факультете I МГУ¹⁶.

Некоторое объективное основание для таких обобщающих подходов коренилось в тех научных парадигмах, которыми оперировала этнология. Абстрактное и расплывчатое определение ее предметного поля – «человечество и его культура» – логически вело почти к безбрежному расширению предмета этнологии. Эту максимизацию предмета науки, в результате которой она неизбежно теряла свою специфику, можно трактовать как серьезный симптом научного кризиса, который за более чем десятилетие, прошедшее после дискуссии 1916 г., вызрел и принял развернутый характер. К концу 1920-х годов в полной мере проявились основные черты научного кризиса (по Т. Куну): быстрое умножение вариантов существующей теории (что было характерно для методологической безбрежности 1920-х годов); создание спекулятивных и псевдо-

научных теорий (огромное число сторонников, особенно среди молодежи, завоевала яфетическая теория Н.Я. Марра).

После 1917 г. были в основном решены проблемы, тормозившие развитие отечественной этнологии: значительно повысился ее статус и она получила государственную поддержку, кардинально расширились масштабы этнологических исследований, возникла широкая сеть этнологических научных центров, удалось достичь координации деятельности этнологов в масштабах всей страны и наладить их профессиональную подготовку. Таким образом, к концу первого тридцатилетия XX в. российская этнология вышла на тот рубеж, с которого с большой долей вероятности должен был начаться переход количественных изменений в качественные: этому способствовали созданные благоприятные условия для методологического прорыва – активной и самостоятельной разработки теоретических проблем науки, что объективно вело к складыванию мощной школы отечественной этнологии. Надеждам не суждено было сбыться.

Марксизм против «буржуазной» этнологии (конец 1920-х годов)

Дискуссия по методологическим вопросам этнологии стала естественным следствием развития историографической ситуации. По существу она велась на страницах научной периодики на протяжении всех 1920-х годов. В частности, активно обсуждалось соотношение «этнографии» и «этнологии», причем в одних случаях разница между этими понятиями носила терминологический характер, в других – сущностный¹⁷. К концу 1920-х годов дискуссия достигла кульминации, вылившись в целую серию диспутов. Но если причины дискуссии коренились в логике развития науки, вытекали из ее внутренних факторов, то в ходе дискуссии эта логика оказалась смята и искорежена.

Было бы соблазнительно объяснить деформацию в общем-то нормально и даже успешно развивавшейся вплоть до конца 1920-х годов научной дисциплины политическими и идеологическими влияниями. Тем более что на исходе этого десятилетия в СССР сворачивался нэл с его ограниченным плюрализмом и начиналась так называемая революция сверху – политика форсированной модернизации страны, сопровождавшаяся установлением жесткого идеологического диктата. Однако подобное объяснение будет все же неполным.

Составной частью «революции сверху» было фронтальное наступление на «буржуазных специалистов» в промышленности, науке и системе высшего образования. Как раз в то время, когда этнологи проводили свой первый диспут (начало мая 1928 г.), внимание общественности оказалось приковано к сенсационному «шахтинскому делу» – первому из серии судебных процессов над «интеллигентами-вредителями», проходивших в 1928–1931 гг. В стране нагнеталась атмосфера подозрительности и враждебности по отношению к старым специалистам, любой из которых мог быть заподозрен, по выражению И.В. Сталина, в «оппозиции строительству социализма». На рубеже 1920–1930-х годов ожесточенным атакам подверглась Академия наук СССР – оплот беспартийных ученых: несколько десятков ее представителей были арестованы, а в руководство Академии партия ввела своих людей. В ходе академических выборов в 1929 и 1932 гг. академиками стали такие общественные деятели и видные ученые-марксисты, как Г.М. Кржижановский (вице-президент АН), Н.М. Лукин, А.В. Луначарский, М.Н. Покровский и др. Широкомасштабные чистки охватили вузовскую систему: избавлялись от студентов с «сомнительным» социальным происхождением, беспартийных преподавателей подвергали остракизму и нередко увольняли, заменяя их партийцами.

Тем самым «революция сверху» открыла благоприятные условия для реализации амбиций нового, послереволюционного поколения обществоведов, которых с долей условности можно называть «молодыми марксистами». Образно говоря, «революция сверху» была дополнена «революцией снизу», радикальная стратегия партийного руко-

водства активно поддерживалась и проводилась в жизнь молодыми рекрутами, усугубившими ее и без того отрицательные последствия. Группа молодых интеллектуалов (в первую очередь члены ячейки содействия Обществу историков-марксистов (ОИМ) при I МГУ и их неформальный лидер В.Б. Аптекарь) претендовала на выражение партийной линии и внедрение партийного духа в науку, претендовала самозванно, поскольку вплоть до конца 1931 г. официальная партийная линия в области общественных наук не была четко сформулирована. Руководствуясь духом времени, воинствующие марксисты поспешили взять на себя прерогативу официальных инстанций в определении того, что в гуманитарных дисциплинах считать марксистским, а что нет. (Позднее эта инициатива имела весьма плачевные последствия для многих из тех, кто в конце 1920-х годов числился в законодателях марксистской моды.)

С 1928 г. разработка методологических вопросов этнологической науки резко активизировалась, причем застрельщиками выступили представители «марксистского сектора» в этнологии. Молодые интеллектуалы инициировали теоретическую дискуссию, определили ее характер и направление: марксизм как «единственно верный» научный метод был противопоставлен концептуальным построениям «буржуазной» этнологии.

Дискуссия разворачивалась преимущественно в форме открытых научных диспутов, выплеснувшись одновременно и на страницы научной периодики. (Попутно следует отметить, что в конце 1920-х годов аналогичные дискуссии охватили практически весь спектр гуманитарных дисциплин и в первую очередь историю.) Одной из главных дискуссионных площадок стала созданная в 1927 г. социологическая секция ОИМ в Москве. ОИМ было одной из организационных форм приобщения интеллектуалов к марксизму, структурой, в рамках которой налаживалось сотрудничество марксистских и немарксистских ученых. В работе социологической секции принимали деятельное участие многие видные московские и ленинградские этнологи: преподаватели этнологического факультета I МГУ В.К. Никольский, П.Ф. Преображенский, С.А. Токарев, преподаватели этнографического отделения географического факультета Ленинградского университета В.Г. Богораз и Я.П. Кошкин и др. В дискуссии по теоретическим проблемам этнологии участвовали также историки А.И. Гуковский и П.И. Кушнер (Кнышев); к участию в диспутах допускались студенты этнофака I МГУ и члены ячейки содействия ОИМ при I МГУ, что придавало дебатам особую остроту и импульсивность.

Точкой отсчета в теоретической дискуссии этнологов можно считать диспут «Марксизм и этнология» по докладу члена московского отделения ГАИМК, ученика Н.Я. Марра, В.Б. Аптекаря, организованной социологической секцией ОИМ в 1928 г. Незаурядный полемист и яркая личность, В.Б. Аптекарь взял на себя роль идейного вдохновителя формировавшегося марксистского крыла в этнологии. (Впоследствии В.Б. Аптекарь стал одним из официальных лидеров «марксистской» этнографии.) Характеризуя тогдашнее положение отечественной этнологии, он справедливо отмечал неопределенность ее статуса и абстрактный характер категорий «культура» и «этнос», с которыми имела дело русская этнография. Им также было точно подмечено, что неразработанность категориального аппарата отечественной этнологии вела к широкому толкованию ее предмета, став источником особых претензий теоретической этнологии на роль некоей метадисциплины¹⁸.

Настораживающий идеологический подтекст угадывался в проделанном В.Б. Аптекарем анализе новейшей этнологической литературы, в первую очередь тех работ «старых специалистов» (В.Г. Богораз, Е.Г. Кагарова, П.Ф. Преображенского и др.), в которых разрабатывалась проблема применения марксизма в научных исследованиях. Докладчик выявил множественные «извращения» в понимании марксизма, сведя их к двум основным течениям: «добросовестному эклектизму», который «искажает марксизм путем его сращивания с различными теориями», и «механическому материализму»¹⁹.

Казалось бы, после точного диагностирования болевых точек отечественной этно-

логии и разгромной критики попыток освоения марксизма учеными старой школы докладчик предложит научному сообществу эталон применения диалектико-материалистического метода в этнографии. Однако выводы В.Б. Аптекаря оказались донельзя неожиданными: заявив о принципиальной несовместимости этнологии и марксизма, он пришел к заключению о необходимости ликвидации этнологии как науки!²⁰ Что и говорить, это был чисто большевистский размах: если научная дисциплина не поддается «марксизации», ее следует уничтожить.

На первый взгляд, нигилистический подход В.Б. Аптекаря был нерационален: призывая к ликвидации этнологии, он тем самым уничтожил нишу, которую намеревались захватить «марксистствующие» радикалы от науки. Объяснение этого кажущегося парадокса кроется в том, что амбиции Аптекаря и ему подобных простирались гораздо дальше вульгарного занятия кафедр и получения директорских постов в центрах этнографического профиля. Они отводили себе роль жрецов от марксизма – хранителей «сакрального» знания и его единственных интерпретаторов, причем отнюдь не только и даже не столько в этнологии, сколько в общественных дисциплинах вообще. Для достижения этой масштабной цели вполне можно было пожертвовать этнологией, на которой оттачивалось оружие марксистской полемики.

Ультрарадикальная позиция В.Б. Аптекаря не получила поддержки участников диспута: отменить успешно развивавшуюся научную дисциплину с более чем столетней традицией – это было чересчур даже для самых активных борцов за внедрение большевизма в науку. Лишь наиболее политизированная часть студенчества, в первую очередь члены ячейки содействия ОИМ I МГУ, солидаризовалась с докладчиком. Подавляющее же большинство выступавших отвергли предложение Аптекаря. Сплоченным лагерем в защиту этнологии выступили студенты этнографического отделения этнографического факультета I МГУ. Молодой преподаватель этого факультета С.А. Токарев, признавая, что «в современном положении этнологии имеются основания, дающие известное право т. Аптекарю прийти к выводу о принципиальной несовместимости этнологии с марксизмом и о необходимости отмены первой», тем не менее считал отказ от этнологии ошибкой. «Отмена этнологии в России не отменит этнологию как науку вообще, поскольку этнология на "буржуазном Западе" будет существовать так же, как существовала до сих пор, – деликатно указывал Токарев, – а уничтожение отечественной этнологии, и так очень слабой, нанесет ущерб лишь ей самой»²¹.

Критики Аптекаря были едины в том, что отечественную этнологию необходимо перевести на «марксистские рельсы», но отвергали перспективу ликвидации этой научной дисциплины, исходя помимо прочего и из соображений политического характера. Так, специалист по истории общественных форм П.И. Кушнер обосновывал целесообразность сохранения этнологии тем, что это «единственная наука, которая дает нам возможность строить наше учение об отсталых народностях, и даже для современной политики учение об отсталых народностях вовсе не является таким незаметным и малым местом, чтобы им пренебречь»²².

Вместе с тем в ходе диспута отчетливо проявилась тенденция (в 1928 г. еще не доминировавшая) к радикальному сужению предметных рамок этнологии. Тот же П.И. Кушнер утверждал, что данная наука «неправильно названа этнологией, ...ее лучше назвать этнографией, т.е. описанием народностей»²³. Ему вторил выпускник Института красной профессуры историк А.И. Гуковский, призвавший «низвести ее (этнологию. – Т.С.) на степень вспомогательной науки»²⁴. Представляется, что эта точка зрения не так уж далеко отстояла от радикальной позиции Аптекаря: если тот предлагал ликвидировать этнологию сейчас и сразу, то низведение ее до уровня даже не специальной, а вспомогательной (!) дисциплины в перспективе неизбежно вело к атрофии науки. В общем, это напоминало спор о том, как лучше рубить хвост кошке: сразу или по частям.

Против посягательств на предметную область этнологии попытался выступить преподаватель этнофака I МГУ, специалист по истории первобытной культуры

В.К. Никольский. Он предложил рассматривать «конкретную этнографию» как базу для этнологии, подчеркнув, что нельзя ограничивать науку лишь чистым описанием²⁵. Характерно, что даже ученый с репутацией марксиста, рекомендованный на преподавательскую должность мэтром марксистской историографии М.Н. Покровским, был крайне осторожен в защите этнологии от радикальных критиков. Что же говорить об этнологах, слывших «буржуазными» учеными? В атмосфере нарастающего идеологического психоза и «спецедействия» (очень точный термин той эпохи) у них имелось не очень много шансов (да и желания тоже) выступить с развернутой защитой своих позиций, а тем более быть услышанными.

Тем не менее, в 1928 г. В.Б. Аптекарь и его немногочисленные сторонники не представляли еще смертельной угрозы для «буржуазной этнологии» и «старых специалистов». Находившийся в процессе становления лагерь воинствующих интеллектуалов основывался лишь на единстве «против» (против любых альтернатив марксизму), единство «за» еще не было выработано. Открытым оставался ключевой вопрос: сохранять ли этнологию вообще, и если да, то в каких рамках?

Дискуссия набирала обороты. В 1928 г. на страницах научной периодики заметно возросло число публикаций по теоретическим проблемам этнологии. Отдельного упоминания заслуживают статьи ленинградского профессора Е.Г. Кагарова «Пределы этнографии» и «Задачи и методы этнографии»²⁶, в которых была выстроена типология существовавших в зарубежной и отечественной литературе определений предмета этнологии. В этих сугубо историографических работах интересны два обстоятельства: во-первых, автор рассматривал отечественную науку в неразрывной связи с мировой этнологией; во-вторых (и это особенно важно) развитие отечественной этнологии в первой трети XX в. Кагаров воспринимал как целостный процесс, акцентируя внимание на его непрерывности и преемственности.

В том же году вышли две теоретических работы В.Г. Богораза: посвященная методике этнографического исследования статья «К вопросу о графическом методе анализа элементов этнографии и этногеографии»²⁷, а также упоминавшаяся уже книга «Основы этногеографии». В монографии, приобретшей сразу после выхода широкую известность, маститый ученый поставил амбициозную задачу преодолеть теоретическое отставание отечественной этнологии.

Именно эта книга стала поводом для нового витка теоретической дискуссии этнологов, состоявшейся на заседаниях социологической секции в ходе Первой все-союзной конференции историков-марксистов (Москва, 28 декабря 1928 г. – 4 января 1929 г.). С докладом вновь выступил В.Б. Аптекарь, выглядевший весьма убедительно в своем критическом пафосе. Он продемонстрировал методологическую вторичность обсуждавшейся книги, в основе которой лежала переработка хорошо известных идей Ф. Ратцеля. Неуклюжая попытка В.Г. Богораза применить марксистскую диалектику оказалась лишним аргументом в пользу тезиса В.Б. Аптекаря о принципиальной несовместимости этнологии с марксизмом. А чрезвычайно широкое толкование предмета новой дисциплины – этногеографии – лишний раз подтверждало опасения, что буржуазная этнология представляет собой противостоящую марксизму теоретическую метадисциплину²⁸.

В центре внимания дискуссии вновь оказался вопрос о предмете этнографии, ее пределах и месте в системе гуманитарных дисциплин. В прениях были высказаны две крайние точки зрения на сей счет. Сторонники первой предлагали рассматривать этнологию как одну из исторических дисциплин, объединенных методологией исторического материализма и имеющую «объектом изучения культуру как накопленный труд человечества»²⁹. Нетрудно заметить, что такая трактовка предмета этнографии представляла собой симбиоз марксизма и эволюционизма и, хотя ее высказал представитель молодого поколения этнологов (С.П. Толстов), она выглядела вполне приемлемой и для старой школы. Приверженцы полярного взгляда исходили из того, что своего, установленного метода в этнологии нет, а «выделение предмета этнологии из социологии и истории искусственно и ни на чем не основано»³⁰. Между этими двумя поляр-

ными точками зрения умещался целый спектр мнений, выразивших «марксистское» понимание предмета и задач этнологической науки.

В течение 1928 г. – первого года теоретической дискуссии – определились ее характер и направленность, наметилась расстановка сил, проявилась (еще не в полной мере) специфическая тональность обсуждения. Как уже отмечалось, дискуссия о предмете этнографии вызревала долгое время, и в этом смысле она выглядела естественным итогом историографического процесса. Обсуждению подлежал комплекс теоретических головоломок, доставшийся этнологии еще от дореволюционных времен: предметная область и цели этнологии, ее место в системе гуманитарных дисциплин, основные категории и теоретические подходы. Однако радикально менявшиеся политический и идеологический контексты и некоторые тенденции в научном сообществе, в первую очередь связанные с кадрово-возрастной динамикой, привели к тому, что рамки обсуждения оказались заведомо и серьезно сужены: в центр дискуссии был вынесен вопрос о применении марксизма в этнологии. В принципе это не исключало возможности плодотворного обсуждения фундаментальных методологических проблем этнологической науки, оказавшись молодые адепты марксизма в состоянии предложить эффективные образцы его использования в этнологии. Однако наиболее добросовестные из них прекрасно отдавали себе отчет в том, что марксизм не может служить волшебной «отмычкой» к сложным научным проблемам. Таким образом, перевод этнологии на «марксистские рельсы» грозил вылиться в многолетнюю кропотливую работу с множеством проб и ошибок.

Подобная перспектива категорически не устраивала группу «бешеных» – воинствующих интеллектуалов, которые вряд ли могли тягаться со своими высококвалифицированными коллегами – представителями «буржуазной» этнологии – в общей эрудиции и в вопросах фундаментальной науки. Настаивая на «большевистских темпах марксизации» этнологии, они использовали этот лозунг как политическую дубинку в борьбе за лидерство в общественных науках. Их позиции выглядели беспроектными: поскольку вряд ли кто-то реально представлял, что означает «марксизм» в этнологии, то, дабы прослыть ревнителем марксистской чистоты, достаточно было ограничиться беспощадной критикой реальных и мнимых антимарксистов и «уклонистов». В истерической политико-психологической атмосфере конца 1920-х годов подобные обвинения способны были заставить замолчать любого оппонента.

Состав участников дискуссии, по крайней мере в 1928 г., не поддается однозначной классификации. Говорить о «марксистском» и «немарксистском» лагерях в науке можно лишь с большой долей условности: ученые старой школы не только не были антимарксистами, но именно им принадлежали первые попытки систематического применения марксизма в этнологии. Вместе с тем практически все молодые этнологи придерживались мнения о безальтернативности марксизма как научного метода, в то время как старая школа не разделяла этого монистического взгляда, чем дальше, тем больше предпочитая умалчивать о своей несогласии на сей счет. Хотя между поколениями пролегал заметный рубеж, тем не менее, по некоторым важным вопросам значительная часть молодой поросли солидаризировалась со своими старшими коллегами. Наконец, не стоит забывать об острой конкуренции ленинградской и московской этнологических школ, отголоски которой прозвучали в дискуссии³¹.

1929 г. внес в ход теоретической дискуссии принципиальные коррективы. Для этнологов он начался с диспута о марксистском понимании социологии, который состоялся 22 февраля 1929 г. в социологической секции ОИМ. В который раз в роли застрельщика выступил В.Б. Аптекарь, оттачивавший аргументы в пользу отмены этнологии. Политический градус его выступления заметно повысился: если в тезисе об отечественной этнологии как «суррогате буржуазного обществоведения» не было ничего нового, то его выпады против «отцов современной этнологии» носили характер прямой политической инвективы³².

Диспут в ОИМ стал генеральной репетицией перед главным событием 1929 г. – совещанием этнографов Москвы и Ленинграда (5–11 апреля). Открывал совещание

старый партиец М.Н. Лядов, который сформулировал его цели следующим образом: «1) намечение путей, по которым должна развиваться этнография как самостоятельная научная дисциплина, 2) внедрение марксизма в этнографические исследования, 3) определение роли и места этнографии в советском строительстве»³³. Было бы опрометчиво представлять заявленную во вступительном слове позицию как официальную линию партийного руководства по отношению к этнологии (таковой просто не существовало), тем не менее нельзя не обратить внимание на признании необходимости развития этнологии как самостоятельной научной дисциплины. Однако в ходе совещания эта точка зрения была проигнорирована.³⁴

С докладами по общим вопросам этнографии на совещании выступили П.Ф. Преображенский («Этнология и ее метод») и В.Б. Аптекар («Марксизм и этнология»). Докладчики представили обоснование двух противоположных взглядов на предмет этнографии. Преображенский определял этнологию как «историю или часть истории, базирующуюся на специфическом материале»³⁴. Таким образом, отказавшись от прежнего, расширительного толкования предмета этнологии, он отстаивал ее право на самостоятельное существование. Но эта жертва не устраивала молодых ревнителей марксизма. В.Б. Аптекар повторил свои излюбленные и убийственные для науки тезисы: этнология не имеет своего объекта и метода исследования и потому не является теоретической дисциплиной; этнология по сути дела, есть «буржуазный суррогат обществоведения», пытающийся подменить собой марксистскую социологию и историю³⁵. Собственно говоря, точка зрения Преображенского в ходе совещания и не обсуждалась, прения развернулись по докладу Аптекера.

Основным итогом этнологического форума стало частичное «замораживание» дискуссии, один из ее ключевых вопросов – о предметных рамках этнологии – был фактически объявлен решенным. В итоговых документах совещания отрицалось построение «этнологии» как теоретической науки; основным объектом этнографического исследования должны были стать «социально-экономические формации в их конкретных вариантах»³⁶. Соответственно термин «этнография» был утвержден как единственно правильный в отличие от расплывчатого термина «этнология»³⁷.

По сравнению с прошедшим годом расстановка сил в дискуссии заметно изменилась. Практически все участники совещания – не только молодое поколение, но и представители старой школы (за исключением Преображенского, чье особое мнение было зафиксировано в документах совещания) – голосовали за резолюцию по общим вопросам этнографии³⁸. Едва ли все, кто поддержал ее, были согласны с принятыми решениями, в частности с упразднением теоретической этнологии. Подписавшись под резолюцией, ученые старой школы, вероятно, надеялись таким образом обеспечить продолжение своей профессиональной деятельности, пусть даже в резко сужившихся рамках.

Иной реакции научного сообщества в гнетущей идеологической атмосфере конца 1920-х годов трудно было ожидать.

Арьбергские бои

Совещание 1929 г. сделало бессмысленным продолжение научной дискуссии, поскольку втиснуло ее в прокрустово ложе вульгаризированного марксизма, исключив даже намеки на обсуждение теоретических альтернатив. Тон дискуссии принял пугающий и развязный характер: во главу угла взамен научной объективности были поставлены идеологическая чистота, политическая целесообразность и классовый подход. В принципиальном плане нарастающие сомнения вызывала сама возможность существования этнологии как самостоятельной научной дисциплины.

Хотя формально дискуссия продолжалась еще на протяжении 1930 г., фактически это была уже неприкрытая идеологическая проработка, имевшая целью вбить «последний гвоздь» в крышку гроба «буржуазной» этнологии. От представителей последней требовалось «разоружиться» и «признать ошибки».

В январе 1930 года в секции социологии (симптоматично, что в том же году она была переименована в секцию докапиталистических формаций) ОИМ В.Г. Богораз выступил с докладом на тему «О применении марксистского метода к изучению этнографических явлений». Докладчик дезавуировал свои прежние теоретические подходы, содержащиеся в книге «Основы этногеографии»: теперь он говорил о необходимости руководствоваться прежде всего социальным, а не географическим подходом к изучению этнографических явлений. По его мнению, этнография должна была заниматься «изучением общественных формаций, связанных с ранними производственными формами типа натурального хозяйства, изучением пережитков и реликтов прежних производственных форм, а также новообразований такого же типа, возникающих в более поздних общественных формациях, вплоть до настоящего времени». К ведению этнографии Богораз также относил «изучение социальных надстроек, соответствующих более ранним общественно-производственным формам, но нередко существующих в виде пережитков в более позднее время»³⁹. Из этих цитат нетрудно понять, что этнографии по сути отказывалось в статусе самостоятельной научной дисциплины – ей отводилось место в рамках истории первобытного общества.

Хотя предложенное Богоразом определение предмета этнографии в общем соответствовало духу резолюций совещания 1929 г., оно прозвучало настолько невнятно, неубедительно и столь явно смущало самого докладчика, что он начал оправдываться. В духе популярных в ту эпоху кампаний по самокритике Богораз призвал вести «внутреннюю борьбу с грузом этнографических сведений, который есть у каждого этнографа за плечами», а затем «мера за мерой вводить новую терминологию, которая ближе подойдет к марксистскому заданию»⁴⁰.

Заметная покаянная нотка в выступлении Богоразом лишь раззадорила аудиторию. Молодая марксистская поросль давно отбросила за ненадобностью понятия корректности и сдержанности во взаимоотношениях со старшими коллегами по цеху, так что докладчик был буквально раздавлен своими оппонентами (в прениях выступили В.Б. Аптекарь, М.Т. Маркелов, С.А. Токарев, С.П. Толстов, Н.Ф. Яковлев). В.Г. Богораз был искренне раздосадован: он первым откликнулся на призыв о «марксизации» этнологии, проявил инициативу и был за нее наказан⁴¹. Молодые этнологи, примерявшие одежды законодателей марксистской моды, охотно критиковали чужие попытки использовать марксизм в науке, но не предлагали собственных вариантов «марксизации» отечественной этнологии.

Пример неудавшегося марксиста Богоразом показывал, что «старые специалисты» не устраивали воинствующих интеллектуалов ни в каком варианте, даже будучи совершенно «ручными», с готовностью воспринявшими все судьбоносные решения 1929 г. Более того, «флирт» буржуазных этнологов с марксизмом выбивал из рук Аптекаря и его единомышленников их главное оружие в борьбе с оппонентами – возможность прибегнуть к политическим, классовым обвинениям. Необходим был серьезный повод для нанесения сокрушительного удара по буржуазным специалистам и «буржуазной лженауке» – этнологии.

И такой повод не заставил себя ждать. 4 июня 1930 г. в секции докапиталистических формаций ОИМ состоялся диспут на тему «Марксизм и этнография». Доклад делал некто проф. Ласси – личность полумифическая, поскольку его имя лишь один раз встретилось в архивных материалах секции докапиталистической формации ОИМ, а в литературных источниках о нем вообще не упоминается.

Выступление проф. Ласси в известном смысле возвращало дискуссию на исходные рубежи, предлагая к обсуждению широкий круг теоретических проблем, как будто и не было решений апрельского (1929 г.) совещания, установившего рамки предмета этнологической науки. Теперь можно только гадать, что это было: позерство, акт гражданской смелости или, не исключено, провокация. Ласси предложил различать «этнографию» – науку эмпирическую, описательную, опирающуюся на полевые исследования – и «этнологию», на основе этнографии всесторонне изучающую «народный быт, бытовую материальную культуру и народную идеологию, в связи с обще-

ственным и хозяйственным строем, выявляя взаимные связи, закономерности и проблемы происхождения и развития и т.д.»⁴². Фактически это означало возвращение к исходным позициям дискуссии.

Но всерьез обсуждать подобные проблемы в 1930 г. уже никто не решался. Так что диспут свелся к установочному выступлению В.Б. Аптекаря, повторившего свои уже хорошо известные тезисы, да к нескольким невнятным репликам, брошенным С.А. Токаревым и С.П. Толстовым⁴³.

Продемонстрировав оппозиционность и проигнорировав по сути дела решения этнологического форума 1929 г., проф. Ласси подставил под удар (намеренно или случайно – другой вопрос) ученых старшего поколения.

Ответ на его выступление не замедлил явиться: буквально через несколько дней, 12 июня, в ОИМ состоялось выступление В.Б. Аптекаря с докладом «Кризис современной этнографической науки». Докладчик, обладавший, вне всякого сомнения, высоким интеллектуальным потенциалом, в целом верно охарактеризовал состояние западной этнологии как кризисное и выявил принципиальные слабости (прежде всего теоретическую вторичность) отечественной этнографии⁴⁴. Однако за критикой вновь не последовало ничего позитивного. Аптекарь повторил свой излюбленный рецепт выхода из кризиса и преодоления методологической зависимости отечественной науки, который сводился к необходимости ликвидации этнологии. «Этнография в сущности не представляет или не должна представлять собой самостоятельной науки», – говорил он и добавлял, что она «существует лишь как научная методика, а поэтому этнография и археология должны окончательно раствориться в общеисторическом разрезе»⁴⁵.

Основной целью Аптекаря была политическая дискредитация оппонентов. Попытки буржуазной профессуры строить марксистскую этнологию он призвал рассматривать не как «простое недоразумение» и не как «персональные ошибки». «Мы имеем не дилетантов, а специалистов, людей практики, людей борьбы. Конечно, эти люди являются высоко научными, высоко квалифицированными, и тем не менее, их исследования мы не можем назвать выдержанно марксистскими. И дело здесь не в персональных ошибках», – подчеркивал докладчик⁴⁶.

По существу это был прямой призыв к политической чистке в этнографии, которая уже началась. Летом 1929 г. без объяснения причин прекратились занятия М.Я. Феноменова, посвященные методам краеведческой работы, на этнофаке I МГУ. В начале 1930 г. от преподавания на факультете по политическим мотивам отстранили безусловного сторонника марксизма С.А. Токарева. Молодой преподаватель не был восстановлен в должности даже тогда, когда новое руководство факультета признало выдвинутые против него обвинения неправомерными⁴⁷. В 1931 г. из ОИМ исключили действительного члена общества проф. В.К. Никольского: поводом послужила публикация его статьи во французском журнале «Антропология»⁴⁸.

Число подобных примеров можно было бы продолжить. Персональные «проработки» в данном случае выражали общую тенденцию отношения к этнологической науке, которая де-факто ликвидировалась. В 1929/30 учебном году этнофак I МГУ преобразовали в историко-этнологический факультет, а в следующем 1930 г. определение «этнологический» вообще исчезло из наименования факультета. Немногим дольше продержалось этнографическое отделение географического факультета ЛГУ, которое закрыли в 1932 г.⁴⁹ На несколько лет преподавание этнологии в университетах было вообще прекращено.

Политические демарши, предпринятые в 1930–1931 гг. (громкие персональные дела, проработочные дискуссии, разгромные публикации), имели целью деморализовать оппозицию на «этнографическом фронте» (опять же очень показательный термин эпохи). «Марксизация» этнологии стала возможна лишь при молчании буржуазной профессуры. Разгром оппозиции был важен еще и потому, что процесс собирания марксистских сил в этнографии оказался весьма сложным, и даже в 1931 г., хотя существовала большая группа этнографов-марксистов, марксистской этнографии не было. Ситуация выглядела настолько щекотливой, что член Общества историков-

марксистов историк А.И. Гуковский считал нецелесообразным созывать в 1932 г. съезд этнографов от имени ОИМ: «Дело в том, что можно заранее сказать, что созвать съезд этнографов-марксистов не удастся, а нам выступать в качестве организаторов по созыву съезда не марксистов незачем»⁵⁰.

Сложности с оппозицией – лишь одна сторона проблемы. Теперь представителям марксистского крыла было необходимо уже самим предложить «марксистское» понимание этнографии, выработать конкретные формулировки, в том числе касающиеся определения ее предмета, которые предполагалось рассмотреть на запланированном на 1932 г. Всероссийском археолого-этнографическом съезде.

«Марксистское» понимание этнографии

Формулировки предмета и задач новой, марксистской, этнографии основывались на учении об укладах и формациях. Именно пресловутый формационный подход предопределил логику становления «советской школы» в этнографии. Задачи науки «в свете учения об общественно-экономических формациях» сформулировал в 1931–1932 гг. Н.М. Маторин, с 1930 г. заместитель директора Института по изучению народов СССР (ИПИИ) и руководитель группы критической проработки этнографических материалов в составе ИПИИ.

Согласно определению Маторина, этнография заключалась в следующие рамки: «В свете учения об укладах и формациях становится совершенно очевидно, что "этнография" теряет свой смысл как особая наука. Существует лишь одна наука – история. Этнография, которая занималась комплексным изучением "первобытных народов" и "пережитков" первобытности у народов "культурных", представляет фактически один из разделов всемирной истории и занята изучением докапиталистических общественно-экономических формаций, иначе – первобытного коммунизма. С другой стороны, этнография занята анализом "пережитков" этой формации в обществе феодальном, рабовладельческом и капиталистическом»⁵¹. При подобном понимании единственное отличие этнографии от истории первобытного общества заключалось в ее нацеленности на изучение конкретных вариантов человеческого общества или, как об этом писал Маторин: «Специализация этнографов имеет свое основание в изучении конкретных вариантов формаций как составная часть комплексного изучения»⁵². Что касается термина «этнография», то, по Маторину, он мог «сохранить условное значение для той части исторического знания, которая связана с доклассовым обществом и его пережитками, поскольку они должны изучаться путем непосредственного наблюдения комплексно»⁵³.

Нужно ли говорить, что при подобном подходе этнография теряла смысл не только как особая наука, но, по правде говоря, вообще утрачивала всякий смысл.

Формулировки этнографа-марксиста номер один не были безукоризненными. Формационная атрибуция ранних стадий развития человечества всегда представлялась затруднительной, в особенности в применении к конкретным вариантам человеческих обществ. На чрезвычайно сложный и противоречивый характер понятия «родовое общество» применительно к меланезийскому обществу указывал С.А. Токарев⁵⁴. В.Г. Богораз считал, что «говорить об определенных общественных формациях на ранних стадиях жизни человечества мы можем только с большой условностью»⁵⁵, а в применении к малым народностям в пределах СССР такие общие определения «постоянно ведут к очевидным недоразумениям»⁵⁶. Е.Г. Кагаров писал о том, что построение марксистской классификации народов, которая опиралась бы «на развитие производительных сил, производственные отношения и классовое расчленение общества», представляется затруднительным, поскольку «в каждой общественно-экономической формации встречаются элементы других формаций – остатки прежних и ростки новых»⁵⁷.

Помимо того что марксистская теория общественно-экономических формаций лишь с большой долей условности могла быть применена к конкретному этнографическому

материалу, марксистское понимание этнографии выявило еще немало своих слабых мест. При том определении предмета этнографии, который предложил Н.М. Маторин, из границ данной научной дисциплины выпадал (что было очевидно для самого Маторина) целый ряд «актуальнейших вопросов современности, которые уже вошли в поле деятельности этнографов: изучение быта современной деревни, изучение труда и быта в колхозах, отчасти изучение религиозного быта»⁵⁸. Но видный теоретик, ничуть не смутившись, пояснил, что изучение современности должно относиться к ведению современной истории, причем «собираение источников в значительной мере будет происходить по методу собирания материала этнографии, через непосредственное живое наблюдение»⁵⁹, а с течением времени «частный метод этнографии, влившись в частную методологию истории, постепенно будет изжит и потеряет свое актуальное значение»⁶⁰.

Впрочем, сложности с применением марксистской методологии к конкретным этнографическим исследованиям волновали главным образом ученых-этнологов старшего поколения, но мало смущали их младших коллег. Тем более что на повестке заседаний Археолого-этнографического совещания, проходившего в мае 1932 г., стояли только общеметодологические вопросы. Установочные доклады С.Н. Быковского и Н.М. Маторина не затрагивали конкретной тематики исследований. Резолюции по этим докладам наметили общий подход к классификации исторических наук и определили роль археологии и этнографии как исторических дисциплин, не подменяющих, но «обосновывающих на специфических видах источников анализ общественно-исторического процесса»⁶¹.

И как итог в решениях совещания «построение этнографии как самостоятельной науки, с особым предметом и методом изучения, противостоящей или равноправной истории» признавалось противоречащим методологии марксизма; этнография сохраняла значение вспомогательной дисциплины, «находящейся на службе исторического исследования и имеющей своей задачей полевое собирание и первичную обработку непосредственных наблюдений над жизнью и бытом ныне живущих народов»⁶². Тем самым на этнографии как теоретической дисциплине ставился жирный крест, а в перспективе ей было обещано незавидное существование вспомогательной науки.

Жизнь после смерти

Увлечшись теоретико-методологическими вопросами, воинствующие интеллектуалы, кажется, упустили из виду некоторые новые важные нюансы партийно-государственной политики по отношению к науке. А между тем 18 марта 1931 г. вышло постановление ЦК ВКП(б), в котором, в частности, говорилось: «Этап завершения фундамента социалистической экономики требует перестройки всей научно-исследовательской работы, подчинения ее строгой плановости, создания многочисленных кадров научных работников-коммунистов и, в особенности, преодоления отмеченного т. Сталиным отставания научной работы от практики социалистического строительства»⁶³.

В свете этого постановления решения Всероссийского археолого-этнографического совещания оказались не вполне адекватными. Крайняя степень сужения пределов этнографии грозила ее исчезновением, что представлялось политически вредным, поскольку нельзя было в данный момент пренебречь изучением народов СССР, находившихся на стадии доклассового общества. По той же причине следовало считаться и со специфической техникой исследования, свойственной этнографии. А борцы против «буржуазного понимания "антропологии" или "этнографии" как универсальных или всеобъемлющих наук» бросились уже в эту крайность. Наконец, отмеченное И.В. Сталиным «отставание научной работы от практики социалистического строительства» означало, что от этнографов ждут в первую очередь конкретных исследований. Между тем на повестке конференции 1932 г. стояли только общие методологические вопросы, тогда как «вся масса этнографических работников ожидала

образцов применения методологии диалектического материализма на фактических примерах, ожидала итогов конкретного исследования»⁶⁴.

Письмо И.В. Сталина в журнал «Пролетарская революция» в октябре 1931 г. внесло ясность в отношения между государством и интеллигенцией, ясно показав, что только партийное руководство (а не самопровозглашенные жрецы марксизма) может быть арбитром истины – в истории и, потенциально, в любой другой научной или культурной сфере. Письмо это диктовало интеллектуалам и линию поведения: провозгласив «консолидацию усилий», оно дало понять всю неуместность научной конфронтации и научного нигилизма в условиях, когда усилия ученых должны быть направлены в позитивное русло созидания, а не разрушения.

Эти партийные документы охладили наступательный пыл борцов за «марксизацию» этнологии и остановили ее дальнейшее разрушение. Хотя дискуссия по теоретическим вопросам этнологии не имела шансов на возобновление, а крайне суженное понимание предмета этнографии было кодифицировано, ситуация в этнологической науке оказалась заморожена, что позволило сохранить некоторые из ее основ, в первую очередь кадры и возможность эмпирических исследований. Парадоксальным образом ликвидация этнологии, начавшаяся в контексте «революции сверху», была остановлена также сверху.

Статус-кво в этнографии оказался сохранен, дальнейшего ухудшения не последовало, но наука влачила жалкое существование, что наглядно подтвердил новый этнологический форум. Очередной вехой в становлении советской этнографии должен был стать «Всесоюзный этнографический слет с серией конкретных научных докладов, посвященных не только народам СССР, но и проблемам первобытного общества на мировом этнографическом материале»⁶⁵. Идея эта была реализована не в полном объеме. Намеченные задачи лишь отчасти выполнила работавшая на Всесоюзном географическом съезде секция этнографии. Тематика докладов, прозвучавших на заседании секции, продемонстрировала значительное сужение теоретической базы этнографии: подавляющее большинство докладов было посвящено анализу социальных отношений, главным образом пережитков родового строя у народов СССР⁶⁶. Из узкого понимания предмета этнографии закономерно вытекали ее задачи, тождественные по сути дела задачам истории первобытного общества. Исключением стал доклад Д.К. Зеленина «Итоги и перспективы изучения материального производства за 15 лет». Его автор представил обзор работ по темам традиционных этнографических классификаций: одежда, жилище и т.д., и констатировал, между прочим, отсутствие марксистских работ по рассматриваемой проблематике. Да и он был раскритикован за попытку «возврата к пониманию этнографии, как самостоятельной науки, противостоящей истории»⁶⁷.

* * *

Как уже неоднократно отмечалось, дискуссия по теоретико-методологическим вопросам этнологии естественным образом вытекала из динамики историографической ситуации в первое тридцатилетие XX в. Однако ее содержание и итоги оказались predeterminedены радикально менявшимся политическим и идеологическим контекстом; в рамках самой науки главным двигателем перемен, глашатаем духа партийности и классовости выступило молодое поколение ученых. Дискуссия была насильственно прекращена, принципиальные теоретические вопросы дезавуированы, этнография сведена до статуса вспомогательной научной дисциплины. Последствия этого для отечественной этнологии оказались, без преувеличения, трагическими.

Достигнутое единство носило характер догматической унификации, было вынужденным, тормозило исследовательскую инициативу и в значительной степени сводило на нет все предшествующие достижения науки. Как минимум на десятилетие отечественная этнология утратила статус теоретической дисциплины. Цена, заплаченная за «марксизацию» этнографии, внедрение «принципов марксистско-ленинского историз-

ма», была непомерно высока: разрушение традиций российской этнологической науки, ее теоретических основ; сведение на нет всех достижений в области подготовки профессиональных этнологов; разрыв международных связей; наконец, сотни человеческих жизней, сломанных судеб, несостоявшихся открытий. При этом вряд ли кто-то решится однозначно утверждать, что на рубеже 1920–1930-х годов действительно произошла смена научных парадигм. Скорее, вместо марксизма в этнологии на долгие годы воцарилась вульгаризированная догма с элементами эволюционизма.

События конца 1920-х – начала 1930-х годов носили судьбоносный характер для отечественной этнологии. После дискуссии началось собственно развитие «советской этнографии». До той поры на протяжении первого тридцатилетия XX в., несмотря на всевозможные оговорки, развитие отечественной этнологии можно рассматривать как преимущественно слитный и преемственный процесс: повышение статуса этнологии, формирование системы подготовки кадров и учреждение новых научных центров, расширение проблематики исследований после 1917 г. – все это не затронуло основополагающего стержня науки: теоретико-методологического плюрализма и научной свободы. Именно с конца 1920-х годов начался новый период в отечественной этнологии.

Примечания

¹ Используемые в тексте статьи термины «историографическое событие», «историографическая ситуация», «историографический процесс» позаимствованы автором у историков отечественной исторической науки. Они обозначают: «историографическое событие» – какое-либо важное событие в сфере науки (например, дискуссия или диспут); «историографическая ситуация» – состояние научной дисциплины, ее основных составляющих (структура, кадры, теории и концепции, проблематика) на определенном хронологическом отрезке; «историографический процесс» – близко к «историографической ситуации», но научная дисциплина рассматривается в динамике.

² Коротко об основных центрах этнографического профиля в России начала XX в. см.: *Соловей Т.Д.* От «буржуазной» этнологии к «советской» этнографии: История отечественной этнологии первой трети XX века. М., 1998. С. 28–30. В российских университетах читались отдельные этнографические курсы, но в рамках подготовки студентов других специальностей. Так, курсы общей этнографии и этнографии России читались Д.Н. Анучиным для студентов естественного отделения физико-математического факультета Московского университета. Л.Я. Штернберг, выступая на XII съезде естествоиспытателей и врачей в Москве, говорил о необходимости учреждения кафедр этнографии в составе историко-филологических факультетов российских университетов.

³ *Максимов А.Н.* Мак-Леннан и Морган // Этнографическое обозрение (далее – ЭО). 1906. № 3/4; *его же.* Выступление на XII съезде естествоиспытателей и врачей в Москве // Живая старина (далее – ЖС). 1910. Вып. 1/2. С. 178; *его же.* Работы М.М. Ковалевского в области первобытного права // ЭО. 1916. № 1/2.

⁴ *Максимов А.Н.* Современное положение этнографии и ее успехи. (Читано на заседании подсекции этнографии XII съезда естествоиспытателей). М., 1909. С. 2.

⁵ Там же. С. 6–8.

⁶ *Могиланский Н.М.* Предмет и задачи этнографии: Доклад, читанный на заседании Отделения этнографии ИРГО 4 марта 1916 года // ЖС. 1916. Вып. 1.

⁷ См.: Журнал заседания Отделения этнографии ИРГО 4 марта 1916 года // ЖС. 1916. Вып. 2/3.

⁸ О структуре научных учреждений этнологического профиля и о системе этнографического образования в 1920-е годы подробно см.: *Соловей Т.Д.* Указ. раб. С. 36–71, 112–136.

⁹ Подробнее об этом см.: Там же. Гл. I (§ 2 и 3), гл. II.

¹⁰ *Зеленин Д.М.* Музей антропологии и этнографии АН СССР (МАЭ) в 1927–28 гг. // Этнография. 1928. № 2. С. 141.

¹¹ *Богданов В.В.* Задачи этнологического изучения ЦПО // Вопросы этнологии Центрально-промышленной области. 1-е этнологическое совещание по ЦПО при Государственном музее ЦПО. 29–30 марта 1926 г. М., 1927. С. 9.

¹² *Зеленин Д.К.* Перспективный план работ по этнографическому изучению ЦПО // Культура и быт населения ЦПО. 2-е совещание этнологов ЦПО. М., 1929. С. 23.

¹³ Прения по докладу П.Ф. Преображенского «Вопросы развития этнологии в СССР» // Там же. С. 223.

¹⁴ *Слезкин Ю.* Советская этнография в нокдауне: 1928–1938 // ЭО. 1993. № 2. С. 115.

¹⁵ См.: *Зибер Н.И.* Очерки первобытной экономической культуры. СПб., 1883; *Ковалевский М.М.* Родовой быт. М., 1906; *Тахтарев К.М.* Первобытное общество. СПб., 1903; *его же.* Очерки по истории первобытной культуры. М., 1907.

¹⁶ См.: *Соловей Т.Д.* Указ. раб. С. 125–128.

¹⁷ Там же. С. 139–141.

¹⁸ Там же. С. 144–145.

¹⁹ Там же. С. 145.

²⁰ Там же. С. 146.

²¹ Там же. С. 146–147.

²² Там же. С. 147.

²³ Там же.

²⁴ Там же.

²⁵ Там же. С. 148.

²⁶ *Кагаров Е.Г.* Пределы этнографии // *Этнография.* 1928. № 1/2; *его же.* Завдання та методи етнографії // *Етнографічний вісник.* 1928. Кн. 7.

²⁷ См.: *Этнография.* 1928. № 1/2.

²⁸ *Аптекарь В.Б.* Марксизм и этнография // Тр. I Всесоюз. конф. историков-марксистов. 28/XII 1928 – 4/I 1929. Т. II. М., 1929.

²⁹ *Толстов С.П.* Выступление в прениях // Там же. С. 331–332.

³⁰ *Дмитриев И.* Выступление в прениях // Там же. С. 336.

³¹ Смотри на сей счет интересное замечание в дневниковых записях С.А. Токарева. (Благодарим судьбу за встречу с ним: (О Сергее Александровиче Токареве – ученом и человеке). М., 1995. С. 161–162).

³² См.: *Дискуссия о марксистском понимании социологии // Историк-марксист.* 1929. Т. XII. С. 199–202.

³³ *Лядов М.И.* Вступительное слово на Совещании этнографов Ленинграда и Москвы (5/IV–11/IV 1929 г.) // *Этнография.* 1929. № 2. С. 110.

³⁴ Тезисы доклада П.Ф. Преображенского «Этнология и ее метод» // Там же. С. 114–115.

³⁵ Тезисы доклада В.Б. Аптекаря «Марксизм и этнология» // Там же. С. 115–116.

³⁶ *Я.К. и Н.М.* Совещание этнографов Ленинграда и Москвы 5/IV–11/IV 1929 г. (Хроника). Резолюция по докладом П.Ф. Преображенского и В.Б. Аптекаря // Там же. С. 116–118.

³⁷ Совещание этнографов Ленинграда и Москвы 5/IV–11/IV 1929 г. Проект резолюции по общим вопросам этнографии // Там же. С. 112.

³⁸ Там же.

³⁹ *Соловей Т.Д.* Указ. раб. С. 157.

⁴⁰ Там же. С. 158.

⁴¹ Там же.

⁴² Там же. С. 160.

⁴³ Там же.

⁴⁴ Там же. С. 161.

⁴⁵ Там же. С. 161–162.

⁴⁶ Там же. С. 162–163.

⁴⁷ Там же. С. 133–134.

⁴⁸ Там же. С. 164.

⁴⁹ Там же. С. 134.

⁵⁰ Там же. С. 165.

⁵¹ *Маторин Н.М.* Современный этап и задачи советской этнографии // *Сов. этнография* (далее – СЭ). 1931. № 1/2. С. 19.

⁵² Там же. С. 20.

⁵³ Там же.

⁵⁴ *Соловей Т.Д.* Указ. раб. С. 167.

⁵⁵ *Тан-Богораз В.Г.* К вопросу о применении марксистского метода к изучению этнографических явлений // *Этнография.* 1930. № 1/2. С. 10.

⁵⁶ Там же.

⁵⁷ *Кагаров Е.Г.* Народы СССР. Л., 1931. С. 9.

⁵⁸ *Маторин Н.М.* Указ. раб. С. 20.

⁵⁹ Там же. С. 21.

⁶⁰ Там же.

⁶¹ Итоги Всероссийского археолого-этнографического совещания. От редакции // СЭ. 1932. № 3. С. 3.

⁶² Всероссийское археолого-этнографическое совещание 7–11 мая 1932 г. // Там же. 1932. № 3. С. 12.

⁶³ Наши задачи в связи с постановлением ЦК ВКП(б) от 15 марта 1931 г. // *Сообщ. ГАИМК.* 1931. № 6. С. 2.

⁶⁴ Итоги Всероссийского археолого-этнографического совещания. От редакции // СЭ. 1932. № 3. С. 3.

⁶⁵ Резолюция Всероссийского археолого-этнографического совещания 7–11 мая 1932 г. по докладам С.Н. Быковского и Н.М. Маторина // Там же. С. 13.

⁶⁶ Данилин А. Секция этнографии Всесоюзного этнографического съезда // Там же. 1933. № 2. С. 113–117.

⁶⁷ Там же. С. 114.

T.D. Solovey. «A radical turn» in our domestic ethnography (discussion on the object of ethnological science: late 1920's – early 1930's)

The article points out that between a scientific discipline as such and an interpretation of its object there exist both direct and feedback connections. The author holds that such a relationship becomes particularly vivid in the situations of a scientific crisis. In such periods the interest to the methodology of a science grows up markedly, and conventional interpretations of its object turn out to be extremely discursive, the debate attracting then the attention of not only historiographers and methodologists but also of a broad scientific audience.

© 2001 г., ЭО, № 3

А.Ю. Заднепровская

ПАМЯТИ Т.А. КРЮКОВОЙ

12 января 2000 г. исполнилось 95 лет со дня рождения Татьяны Александровны Крюковой, крупного этнографа, специалиста по культуре народов Среднего Поволжья и Приуралья. Т.А. Крюкова принадлежит к блестящему поколению ученых, заложивших основы современной этнографической науки. Она была одним из ведущих сотрудников Российского этнографического музея, проработав в его стенах начиная с 1932 г. более 45 лет и внося значительный вклад в историю музея. Татьяна Александровна участвовала в организации отдела этнографии Поволжья и Приуралья, а с 1944 г. и вплоть до своей смерти в 1978 г. была его руководителем. Т.А. Крюкова успешно сочетала научную и музейную работу, в различных направлениях которой достигла значительных результатов. Она – автор 40 печатных работ, из которых 5 – монографии. Основная проблематика ее научных исследований связана с комплексным изучением культуры марийцев, многоаспектным анализом одежды народов региона и народного искусства удмуртов, марийцев, мордвы и чувашей. Одно из важнейших направлений ее работы – экспедиционно-собрательское, маршруты поездок исследовательницы охватили практически все Поволжье. Г.А. Крюкова вела большую научно-методическую и организационную работу в автономных республиках Поволжья, и ее заслуги не раз отмечались правительственными наградами. Ей было присвоено звание заслуженного работника культуры Марийской АССР и Чувашской АССР, она стала лауреатом Государственной премии Удмуртской АССР, получила почетные грамоты Верховного Совета Марийской АССР и Татарской АССР.

В связи с юбилеем Т.А. Крюковой в Российском этнографическом музее прошли памятные мероприятия. Сотрудники библиотеки РЭМ В.В. Нестерова, Т.В. Афтенко, М.А. Кораблева и Н.В. Лившиц подготовили выставку печатных трудов Т.А. Крюковой. Была также организована выставка «Т.А. Крюкова – личность и творчество» (автор – ведущий научный сотрудник РЭМ Л.М. Лойко), познакомившая посетителей с биографией Т.А. Крюковой и результатами ее чрезвычайно активной и успешной экспедиционно-собрательской работы. Известно, что она провела 37 экспедиций в различные республики и районы Среднего Поволжья и Приуралья и приобрела для